

АЛЕКСАНДР ЛАДОГИН

ЛУННЫЙ ДОЛГ

КНИГА ВТОРАЯ

# ОБРАТНЫЙ АДРЕС



# Александр Ладогин

## Обратный адрес

<https://litres.ru/74644328>

*SelfPub; 2026*

### Аннотация

Письмо сыну дойдёт через сто лет.

Но кто прочтёт его первым?

Петербург, 1906 год. Полковник Дмитрий Корсаков застрял в прошлом.

Его шестнадцатилетний сын остался в 2005-м — и отказывается верить, что отец исчез навсегда.

Между ними — целый век, жестяная банка из-под монпансье и дверь, которая открывается лишь при полнолунии. Но кто-то уже знает, когда она откроется. И кому позволено пройти.

В городе, где охранка ведёт тайные дела, шведский маклер торгует знанием будущего, а под аркой Новой Голландии таится другая дорога между временами, Корсакову предстоит понять: кто помогает ему найти сына — и зачем?

Рядом с ним — старый сыщик, влиятельный сенатор и девушка, ради которой чужой век постепенно становится родным. Но каждое новое письмо приближает не только встречу, но и опасность.

«Обратный адрес» — вторая книга трилогии «Лунный долг».

Исторический детектив, тайна времени и история отца, который не может перестать ждать.

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Глава первая. Сочельник           | 5  |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 28 |

# Александр Ладогин

## Обратный адрес

### Глава первая. Сочельник



I

*Знаменская улица, квартира Велеховых. 24 декабря 1905 года, день.*

Ёлку внесли в залу в одиннадцать часов утра, и к двенадцати весь дом знал, что она кривая.

Первым это заметил Прохор. Он обошёл её кругом, заложив руки за спину, как обходят на смотре новобранца с подозрительно весёлым лицом, остановился, отступил на шаг и сообщил потолку, что при покойной барыне ёлки брали у Гостиного двора, у одного и того же мужика, и все они стояли прямо. А эту, изволите видеть, брали на Сенной. Матрёна, принёсшая из кухни сочиво попробовать, хотя попробовать до первой звезды было никак нельзя, посмотрела на ёлку, посмотрела на Прохора и сказала, что ёлка как ёлка, а кривой бывает не ёлка, а глаз. Дуняша фыркнула в передник. Прохор сделал вид, что не слышал, и это было самое страшное, что он умел делать.

Корсаков стоял в дверях залы, опираясь на трость, и наблюдал.

Наблюдал он, впрочем, не только за ёлкой. Из окна были видны ворота и угол Знаменской, и на углу, через улицу, со вчерашнего утра стоял сбитенщик. С медным кувшином, обмотанным полотенцем. Сбитенщики в Петербурге стоят там, где пьют: у трактиров, у бань, у вокзала. Этот стоял там, где смотрят. На ворота Велеховых. Корсаков отметил его вчера, как отмечают трещину в оконном стекле, и велел себе пока не думать. Сочельник. В сочельник у трещин тоже должен быть выходной.

За три месяца в чужом веке он научился креститься спра-

ва налево, говорить «покорно благодарю» и не говорить «окей». Научился ходить с тростью так, чтобы она казалась частью костюма, хотя левая лодыжка, туго перетянутая Лёлиной повязкой, считала иначе. Одному он так и не научился: смотреть на живой огонь в доме спокойно.

А огня собирались зажечь много. Дуняша с Тишкой цепляли к веткам свечи на жестяных прищепках, одну за другой, с серьёзностью аптекарей, отвечающих порошки по рецепту. Сто двадцать свечей, подсчитал Корсаков. На смолистой ёлке. Среди тяжёлых портьер, бумажных цепей и ватных сугробов с блёстками.

За двадцать лет службы Корсаков пропускал многое: чужие паспорта, чужие границы, однажды целый грузовик с надписью «Мебель», в котором мебели не было. Но сто двадцать свечей на ёлке – это было слишком.

«Наставление о ёлке, – подумал он. – Пункт первый. Огнетушитель. Огнетушителя нет. Пункт второй. Ведро с водой. Пункт третий. Не говорить никому про пункт первый».

Он вышел, через пять минут вернулся с ведром из кухни, оглянулся и поставил его за портьеру у окна, поближе к ёлке. Ведро было полное, тяжёлое, и вода в нём ещё качалась, когда за спиной раздалось вежливое покашливание.

Прохор стоял рядом. Он не смотрел ни на Корсакова, ни на ведро. Он смотрел перед собой, на ёлку, с выражением человека, которому очень многое не нравится в этом мире, но который давно перестал об этом докладывать.

— Ведро, сударь, — произнёс он ровно, — испокон веку ставили за печку. Там его не видно. А за портьерой его видно. И портьеру от него ведёт.

Он отнёс ведро за изразцовую печь в углу залы с той неторопливой торжественностью, с какой, надо думать, выносил бы при пожаре фамильное серебро.

— Благодарю, Прохор.

— Не за что, сударь. — Прохор всё так же глядел на ёлку. — У нас в девяносто пятом году занавесь в гостиной занялась. Покойный Николай Константинович тогда руками тушили. Обжёгся. Барыня их потом месяц маслом мазали.

Он помолчал.

— Ведро за печкой, — повторил он и ушёл.

Корсаков посмотрел ему вслед и вдруг понял, что за три месяца в этом доме его впервые приняли в заговор. Пусть в самый маленький на свете: в заговор ведра.

Гришка влетел в залу так, что скрипнули сразу все половицы. На нём была гимназическая шинель, которую он не снимал даже дома, и фуражка Второй гимназии на затылке. Под шинелью, Корсаков знал это точно, был старый засаленный галстук Чижова, и никто в доме не смел ему ничего сказать.

— Дмитрий Сергеич! — закричал Гришка от двери. — Там звезду не ту принесли. Там с хвостом. А надо без хвоста. С хвостом — это комета, а комета к войне.

— Это кто тебе сказал? — любопытствовал Корсаков.

— Матрёна!

— А она откуда знает?

Гришка задумался.

— Не знаю, – честно признался он. – Матрёна всё знает. Она даже знает, кто кривой, ёлка или глаз.

Тишка, сидевший на корточках у нижних веток, хихикнул и тут же спрятался за ёлку, будто его там не было.

Лёля спустилась около часу, в домашнем сером платье, с карандашом за ухом и с листком, на котором столбиком значились подарки: Прохору жилет, Матрёне шаль, Дуняше ленты, Ефиму рукавицы. Против каждой строки стояла галочка, кроме самой нижней, и Корсаков, прочитав её вверх ногами, почувствовал, как холодеет спина.

— Дмитрий Сергеевич, – сказала Лёля, складывая листок. – Вы мне вот что скажите. Что вы дарите?

— Кому?

— Всем, – невозмутимо сказала Лёля. – Сегодня сочельник. Вы живёте в этом доме три месяца. Гришке, Тишке, Матрёне. Папá. – Она помедлила ровно на полсекунды. – Мне.

Корсаков открыл рот, чтобы сказать, что у них, в Гельсингфорсе, подарки дарят на Новый год, а не на Рождество, и закрыл его, потому что вспомнил, что не знает, когда их дарят в Гельсингфорсе.

— Понятно. – Лёля посмотрела на него, как смотрят на первокурсника, пришедшего в анатомический театр без фар-

тука. — Лавки на Невском закрываются в шесть. Сегодня, может быть, раньше. Сейчас начало второго.

Корсаков достал часы Коли. Серебряная крышка щёлкнула. Без четверти два.

— Я успею.

— Вы хромаете, — напомнила Лёля.

— Я хромаю очень быстро, — заверил он и пошёл одеваться.

## II

*Невский проспект — Большая Морская. 24 декабря 1905 года, после полудня.*

Невский в сочельник был похож на вокзал, с которого вот-вот уйдёт последний поезд в праздник и все боятся на него не попасть.

По торцовой мостовой неслись извозчики, гружёные картонками так, что седоков было не видно. Приказчики без шапок выбегали к санкам, кричали «Покорнейше благодарим-с!» и убегали к следующим. У Гостиного двора мужик в тулупе уступал последние ёлки за двугривенный, а одну, совсем лысую, отдал даром барышне с гувернанткой, сказав, что всё равно не довезёт. Пахло хвоей, жареными каштанами и конским навозом, и этот запах был Корсакову уже почти родным.

Через неделю после Пресни город делал вид, что Пресни не было. Только у Казанского собора стоял конный разъезд, и офицер на сером жеребце смотрел поверх голов с видом

человека, которому велено не видеть лишнего.

Большие города умеют праздновать над ямой. Чести им это не делает и бесчестья тоже: так человек продолжает дышать, когда ему страшно. Корсаков видел это в Москве в девяносто третьем и в Вене, где в соседнем квартале ещё не высохла брусчатка, а на главной улице уже стелили скатерти в кафе. Жить дальше – тоже способ сопротивляться, и иногда последний.

Модный магазин на Большой Морской он выбрал по самому простому признаку: туда входили дамы, а выходили с картонками, и картонки были круглые. Над дверью висела вывеска, золотом по чёрному, с завитками.

*МОДЫ И ШЛЯПЫ. М-me ДЕЛАКУРЬ. Изъ Парижа.*

Внутри было душно и тесно от перьев: страусовых, петушиных, крашенных в такие цвета, каких нет даже у попугаев. Шляпы сидели на болванках вдоль стен, как дамы на балу, которых никто не пригласил. За прилавком стояла сама мадам, маленькая, сухая, в чёрном шёлке, с сантиметром на шее.

Дамы у зеркал замолчали разом. Мужчина в два аршина одиннадцать вершков, с тростью, в шляпном магазине в сочельник – это был сюжет для отдельного ужина. Шесть пар глаз, одна в лорнете.

— Monsieur désire? – осведомилась мадам.

— Мне нужна шляпка, – объявил Корсаков по-русски. – Для барышни.

— Для супруги? – уточнила мадам, тоже по-русски, но с французским «р», которое она, судя по всему, привезла из Парижа вместе с вывеской, или, что вернее, купила на Васильевском острове.

— Нет.

— Для сестрицы?

— Нет.

Мадам посмотрела на него внимательнее. Дамы у зеркал перестали делать вид, что примеряют.

— Monsieur, вероятно, не здешний, – дипломатично заключила мадам.

— Из Гельсингфорса.

— А-а, – с облегчением сказала мадам, и на лице её проступило понимание: у финнов, видимо, так принято, и ничего другого от них ждать не приходится. – Какой фасон желаете?

Фасона Корсаков не знал. Зато его двадцать лет учили составлять портрет человека по тому, от чего он отказывается.

Лёля не носила перьев. Ни разу за три месяца. Не носила цветов и вуалетки, потому что вуалетка мешает смотреть, а Лёля смотрела всегда. Носила тёмно-синее и серое. А шляпка, которую он раздавил в карете у Знаменской церкви, была с перьями. Значит, ту выбирала не Лёля. Ту выбирала тётка.

«Методика составления психологического портрета объекта, – подумал он. – Применена в шляпном магазине. Если бы мой первый начальник это видел, он бы снял с меня по-

гоны. А потом попросил бы помочь выбрать шляпку жене». — Без перьев, — сказал он вслух. — Без цветов. Без вуалетки. Тёмно-синюю или серую. Небольшую. Таковую, чтобы не мешала смотреть.

Мадам замерла с сантиметром в руке.

— Monsieur, — медленно проговорила она, — такую шляпку носят курсистки.

— Именно, — обрадовался Корсаков. — Курсистка.

Дамы у зеркал переглянулись. Одна, в лорнете, что-то шепнула соседке, и соседка прикрыла рот муфтой. Корсаков не слышал, что она сказала, но по движению губ уловил слово «финн» и слово «курсистка», и между ними, по всей видимости, было что-то о нравах.

Мадам вынесла три коробки. В первой была шляпка серая, строгая, как гимназический устав. Во второй — тёмно-синяя, с узкой лентой и маленькой стальной пряжкой сбоку. В третьей было что-то с вишнями, и мадам сразу её унесла, сказав «pardon», будто вишни выскочили без её ведома.

Корсаков взял вторую.

— Восемнадцать рублей, — объявила мадам.

Корсаков не моргнул. Восемнадцать рублей — почти месячное жалованье городского, девяносто обедов в кухмистерской.

Он заплатил. Мадам перевязала коробку лентой и, вручая её, наклонилась через прилавок и сказала совсем тихо, без всякого французского выговора, с чистым псковским «о»:

— Хорошо выбрали, барин. Ей пойдёт. Это сразу видно, кто для себя берёт, а кто для неё.

Он вышел на Морскую с круглой коробкой под мышкой, улыбаясь. Мимо прогрохотала конка с империалом, облепленным снегом, газетчик на углу кричал про Москву, и Корсаков не стал его слушать.

Гришке он купил в Гостином дворе немецкий перочинный нож с двумя лезвиями, шилом и штопором: без штопора, по словам приказчика, ножи не берут даже архиереи. Тишке — букварь с картинками, где на букву «ять» почему-то был нарисован хлеб, а на хлебе сидела муха. Корсаков долго смотрел на эту муху и решил, что художник знал, что делает.

И только на Садовой, когда уже стемнело, а над крышами повисло небо без единой звезды, он понял, что купил подарки всем.

Всем, кроме одного.

Шестнадцатилетнему сыну подарить было нечего.

### III

*Знаменская улица, квартира Велеховых. Сочельник, вечер.*  
Звезду высмотрел Гришка.

Он с шести часов сидел на подоконнике в столовой, прижавшись лбом к стеклу, и докладывал, как часовой: туча, туча, дым из трубы, опять туча, ворона. Анна Аркадьевна, прибывшая к пяти в лиловом шёлке, с лорнетом, мопсом и коробкой марципанов, которую она вручила Прохору со словами, что это для детей и что дети этого не заслуживают,

дважды велела Гришке слезть. Велехов сидел во главе стола, прямой, в сюртуке, и ждал. За тридцать восемь лет службы он научился ждать лучше всех в этом доме.

— Есть! – вдруг закричал Гришка так, что мопс подпрыгнул на коленях у тётки. – Есть звезда. Над конюшной. Вон, между трубами.

Все посмотрели в окно. Звезды не было видно никому, кроме Гришки. Но Велехов поднялся, и все поднялись тоже.

— Значит, есть, – сказал Велехов. – Он у нас самый глазастый.

Молились стоя. Велехов читал ровно, не возвышая голоса. Корсаков перекрестился правильно, справа налево, и тётка, следившая за ним в лорнет, разочарованно его опустила.

«Тётка заслужила своё разочарование, – подумал Корсаков. – Но я заслужил свою маленькую победу. Счёт: один – один. Мопс играет за неё».

Сочиво было из пшеницы с мёдом и маком. Потом подали рыбу, пироги и снова рыбу, потому что мяса в сочельник не ели, а голодным из-за стола у Велеховых не вставал никто со времён, по словам Прохора, покойного государя.

Велехов принёс к столу «Новое время», положил рядом с прибором, развернул, начал было: «Сегодня пишут из Москвы...» – и остановился.

— Constantin, – сказала Анна Аркадьевна, не поднимая глаз от рыбы. – В сочельник о политике не говорят.

Велехов посмотрел на сестру. Потом на газету. Потом сло-

жил её вчетверо, аккуратно, угол к углу, и положил на подоконник за своей спиной.

— Не говорят, — согласился он.

Корсаков знал, что было в газете, лучше тех, кто её написал. Пресня. Семёновцы. Артиллерия по фабричным корпусам. Спорить о числе убитых будут ещё сто лет. Он молчал так, что Лёля посмотрела на него через стол, и он отвёл глаза первым, чего с ним давно не случалось.

Тётка рассказала анекдот. По-французски, разумеется, с паузами для лорнета: что-то о епископе, графине и собаке, которая оказалась не той собакой. Велехов улыбнулся на свои обычные миллиметры, Лёля засмеялась коротко, а Гришка, не понявший ни слова, громче всех.

Корсаков засмеялся третьим.

И чуть не поперхнулся пирогом. Он сам когда-то учил молодых: хочешь понять, кто не понял шутку, следи, кто смеётся вторым. Первые смеются, потому что поняли. Вторые — потому что засмеялись первые. А третьим, как выяснилось, смеётся полковник без французского, который выдаёт себя за финна, из принципа не говорящего по-шведски.

Тётка посмотрела на него в лорнет. Долго.

— Вы поняли, мсьё Корсаков? — спросила она.

— Каждое слово, мадам, — заверил Корсаков. — Особенно про собаку.

Мопс у неё на коленях поднял голову и посмотрел на Корсакова строго и сочувственно, будто тот вызвался доброволь-

цем, не зная куда.

После рыбы Прохор внёс плетёную корзину с бантом, полную визитных карточек: от сослуживцев, от товарищей по Училищу правоведения, от людей, которых никто в доме не помнил, но которые помнили Велехова. Тётка обожала эту корзину и выносила каждой карточке приговор вслух.

— Барон такой-то. Совсем постарел, бедный, раз пишет сам. Генеральша такая-то. Зачем пишет, если мы не ездим. Действительный статский такой-то, его тоже перевели в Сенат, Constantin, совсем как тебя. Поздравляю, вы теперь вдвоём на почётном кладбище. — Тётка поднесла к лорнету следующую и замерла. — Mister Korsakov. Forestry.

Она подняла глаза. За столом стало тихо.

— Hélène, — сказала тётка, обращаясь к Лёле, но глядя на Корсакова. — Твой финн торгует дровами?

— Он не мой, тётя, — ответила Лёля, и веснушки у неё проступили все разом.

— И не торгую, — добавил Корсаков, протягивая руку. — Позвольте, мадам. Это, по-видимому, мне.

Тётка отдала карточку с явным сожалением. Это была плотная английская бумага, кремовая, с золотым обрезом. Ни имени, ни герба, ни адреса отправителя на ней не было. Только от руки, наискось, хорошими чернилами: «Mr Korsakov. Forestry». Визитная карточка, на которой написано не «от кого», а «кому», — вещь в петербургском обиходе такая же редкая, как извозчик, отказавшийся от чаевых.

Он не стал её переворачивать. Убрал во внутренний карман, к листу для Ильи, и взял ещё пирога. Пирог был с визигой. Корсаков не помнил, что такое визига, и ел его с видом человека, который ест визигу каждый день.

А между пирогом и киселём, пока тётка рассказывала, как покойный генерал перепутал Царское Село с Красным, он посмотрел на часы Коли, и мысли его обратились к другому.

Двадцать пятое декабря здесь, по старому стилю, – это седьмое января по новому. Через сто лет в Москве Рождество будут праздновать именно седьмого. Единственный праздник, который перейдёт через век, не сдвинувшись ни на сутки, будто его нарочно оставили для тех, кому нужно встретиться.

Но лунный долг, четыре дня на век, сдвигал всё. Сегоднешняя ночь здесь была там ночью на одиннадцатое января две тысячи шестого. Там Рождество прошло три дня назад. Илья уже отсидел за праздничным столом у Ирины и, вероятно, на все вопросы отвечал «нормально».

Он поднял глаза. Напротив, во главе стола, сидел Велехов. У Велехова за этим столом не хватало Коли, которого не нашли под Цусимой. У Корсакова – сына, которого не найти в этом веке. Двое отцов сидели за одним столом и не смотрели друг на друга.

Велехов взял графинчик и налил Корсакову. Сам, не дожидаясь Прохора. Ровно, до одной черты.

— С праздником, господин Корсаков, – сказал он.

— С праздником, ваше превосходительство.

Они выпили. Тётка рассказывала про Красное Село. Мопс спал.

#### IV

*Знаменская улица, квартира Велеховых. Ночь на 25 декабря 1905 года.*

Ёлку зажигали всей семьёй, и Корсаков стоял с тростью у печки, ближе к ведру.

С каждой новой свечой в зале становилось светлее, жарче и тише. Тишка стоял, приоткрыв рот, и огни отражались у него в глазах двумя маленькими ёлками. Гришка изо всех сил делал вид, что видел ёлки сто раз. Прислуга толпилась в дверях, и Ефим зачем-то держал шапку в руках.

Подарки раздавала Лёля. Прохор принял жилет, поклонился и сообщил, что в прежние годы жилеты шили с часовым карманом, а этот без кармана, но тоже хорош. Это была высшая похвала, на какую Прохор был способен.

Корсаков отдал свои.

Гришка раскрыл все лезвия разом, проверил главное ногтем, как проверяют бритву, и посмотрел на Корсакова поверх ножа.

— Немецкий, – определил он. – С пробой. – Потом подумал и добавил тише: – А штопор зачем?

— Без штопора, говорят, не берут даже архиереи, – объяснил Корсаков.

Гришка засмеялся и спрятал нож в карман шинели так

быстро, будто его могли отнять.

Тишка взял букварь двумя руками, как берут икону, сел на пол под ёлкой, поводил пальцем по строчке и прочёл по складам, с усилием, от которого покраснели уши:

— А-рбуз.

И поднял глаза.

Даже тётка опустила лорнет. Тишка, два месяца назад стучавший молоточком в войлоке под столом у медиума, Тишка с лаврских нар, учившийся грамоте по бумажкам Ланской, которые хранил в шапке, прочёл первое слово в первой своей книге, и было слышно, как потрескивают свечи.

— А дальше? – спросил Гришка.

— Ба-ра-бан, – прочёл Тишка.

И тогда Матрёна в дверях громко всхлипнула и сделала вид, что закашлялась.

Лёля открыла круглую коробку не сразу. Сначала посмотрела на него, потом развязала ленту и долго смотрела внутрь.

— Без перьев, – сказала она наконец.

— Без перьев, – подтвердил он.

— Без цветов.

— Без цветов.

— И без вуалетки. – Она подняла глаза. – Как вы узнали?

— По тем, которые вы не носите, – признался он. – Профессиональная деформация.

Лёля надела шляпку прямо перед ёлкой, посмотрелась в тёмное стекло, повернула голову влево, вправо и засмеялась

удивлённо, как смеются люди, которые не знают, куда деть неожиданное приятное.

— Долг уплачен, — сказала она. — Вы больше не лежите на моей шляпке.

Потом она протянула ему маленький плоский футляр, обтянутый тёмной кожей.

Внутри лежало вечное перо. Чёрное, с золотым ободком, английское, с рычажком сбоку для чернил.

— Вы всё время пишете чужими карандашами, — сказала Лёля. — Папиными. Лузгинскими. Свиридовскими. Один раз я видела, как вы писали Гришкиным огрызком. Это никуда не годится. У человека должно быть своё перо.

В его веке перьями писали только президенты на церемониях. И тогда он понял, что именно этим пером напишет письмо, которое пока не знал, как начать.

— Спасибо, Елена Константиновна. — Больше он ничего не сказал: голос не послушался.

Именно в эту секунду загорелась бумажная цепь.

Синяя с золотом, склеенная Тишкой из конфетных оберток, она висела на третьей ветке сверху, и свеча под ней наклонилась на прищепке, как пьяный на скамейке. Бумага вспыхнула весело и легко, и огонёк побежал вверх, к ватному сугробу.

Корсаков сделал два шага, на правую, на правую, левую подтащил, по дороге послюнил пальцы, сорвал горящую цепь и сжал огонь в кулаке. Зашипело. Запахло палёной бу-

магой. На ладони лежал чёрный комок, только у мизинца покраснело.

Тётка уронила лорнет на цепочке.

— Mon Dieu, – сказала она. – Он тушит руками. Как Nicolas.

Прохор медленно повернул голову к печке, за которой стояло ведро, потом к Корсакову. На лице его не изменилось ничего. Но голос был другой.

— Как положено, сударь, – сказал он.

И это была вторая высшая похвала за вечер.

Лузгина Корсаков нашёл в людской, когда ёлку погасили, а тётка уехала, забрав мопса и половину марципанов.

Надзиратель сидел на лавке у стены, с правой рукой на перевязи, и пил с Матрёной чай из блюдца, а Матрёна, ворча, колола ему сахар щипчиками, как ребёнку. К господскому столу Лузгин не садился: Велехов приглашал дважды, и дважды Лузгин отказывался, объясняя, что там у него сахар в горле застревает, а на кухне не застревает.

— С праздником, голубчик, – сказал Лузгин, увидев Корсакова, и привстал, но Корсаков махнул рукой, и он сел обратно. – Наслышан. Руками, говорят. Цепь. Матрёна мне уже доложила. Матрёна мне всё докладывает. Лучший агент в Петербурге, только жалованья не берёт.

— Беру, – сказала Матрёна. – Пряниками.

Лузгин засмеялся в усы и отхлебнул из блюдца.

— Ну, как плечо, Фрол Евсеевич?

— Зарастает. Доктор рыжий говорит, через месяц буду как новенький. Я говорю: голубчик, я и новеньким-то не был. — Лузгин посмотрел на Матрёну, и Матрёна, понимавшая его без слов, вспомнила про тесто и ушла в чулан.

Он взял левой рукой горсть калёных семечек и стал перебирать их пальцами на ладони, не грызя.

— Голубчик. Вы у ворот когда последний раз были?

— Днём. Когда в Гостиный ходил.

— А сбитенщика видели?

— Второй день вижу, — сказал Корсаков. — Напротив ворот, через улицу.

— Второй день, — кивнул Лузгин. — Я вчера мимо шёл, стоит. Сегодня шёл, стоит. И сбитень не продаёт. — Он перестал перебирать семечки. — Я у него вчера попросил стаканчик. Он мне налил. Холодного. Говорит: «Не взыщите, барин, остыло». А как не остыть? Он с утра его не грел. Он его, голубчик, вообще не грел. Он с ним стоит.

В маленьких светлых глазах надзирателя не было ни насмешки, ни тревоги. Было то, что Корсаков видел у себя в зеркале в Вене, когда понял, что его ведут от самой гостиницы.

— Помните Покров, Фрол Евсеевич? — тихо спросил Корсаков. — Знаменскую площадь?

— Как не помнить, — хмыкнул Лузгин. — Там тоже был сбитенщик. И тоже не продавал. — Он положил семечки на стол. — Только тот, голубчик, был не мой. А этот — тем более

не мой. Я своих сбитенщиков всех знаю. Этот не наш.

— Чей?

Лузгин пожал здоровым плечом.

— Спрошу, – сказал он. – Не сегодня. Сегодня праздник. А грех в праздник людей спрашивать, кто их поставил. Обидятся.

V

*Знаменская улица, флигель. Ночь на 25 декабря 1905 года.*

Во флигеле было тепло. Тишка спал на кровати Корсакова, прижимая к груди букварь, Гришка – на лавке у печки, в шинели. Ротмистровна у Тишки в ногах открыла один глаз, посмотрела на Корсакова без всякого интереса и закрыла.

Корсаков зажёл свечу и достал из ящика карточку номер один.

Две недели он смотрел на неё каждую ночь, как на карту местности, куда придётся идти. Сегодня он взял Лёлину анатомическую лупу в медной оправе, которую так и не вернул с ноября, положил фотографию оборотом вверх под свечу и стал смотреть. Не как отец. Как эксперт.

Лаборатории не было, не было девушки в белом халате, которая через два часа назвала бы возраст пасты с точностью до недели. Была лупа, свеча и двадцать лет службы.

Значит, по пунктам. Один раз.

Первое. Паста. Синяя, дешёвая, из ларька у метро. Илья покупал такие пачками и всегда терял. На слове «найду» паста продавила глянец так, что на лицевой стороне, на кителе

у правого погона, остался бугорок. Илья давил на ручку, когда злился или боялся, и учительница в первом классе говорила, что мальчик пишет, будто гвозди забивает.

Второе. Клей. Казённый жёлтый гуммиарабик, которым Стрешнев клеил фотографии ко всем карточкам. У буквы «д», той самой, с хвостом-якорем, клей затёк поверх пасты: жёлтая плёнка лежала на синей линии, а не линия на плёнке.

Значит, сначала паста. Потом клей.

Значит, Илья подписал фотографию раньше, чем её приклеили к карточке четырнадцатого апреля тысяча девятьсот четвёртого года.

Третье. Снимок сделали тринадцатого октября две тысячи пятого года «в личное дело». Сыну его могли показать, только когда стало ясно, что отец не вернулся из отпуска, то есть не раньше середины ноября. Розыскное дело, визит к Ирине, фотография на столе перед мальчиком: «Не звонил? Нет ли у отца знакомых в Петербурге?» И юноша взял фотографию и не отдал.

Значит, Звездочёт говорил с Ильёй этой зимой. Может быть, после шестнадцатого декабря, когда сам вышел из двери на той стороне. И только потом, неведомо какой дорогой, ушёл в апрель девятьсот четвёртого и положил снимок на стол ротмистру.

«Он был у моего сына. Недавно. Сидел на кухне у Ирины, в шубе, с тростью с серебряной собакой, пил чай и говорил с моим сыном. А я в это время ел сочиво и считал свечи на

ёлке».

Он положил лупу. Свеча оплыла.

Тогда он достал из кармана карточку Чельберга.

Лицевую сторону он уже видел. «Mr Korsakov. Forestry». Кременовая английская бумага, золотой обрез, ни одной буквы о том, кто её прислал. Перевернул.

На обороте было написано тем же почерком, что и «Forestry», наискось, неторопливо, хорошими чернилами:

*Cloudy on the 28th. Both skies.*

*Merry Christmas from all of us. K.*

И в голове само собой всплыло другое. Брошюра. Серая, ксерокопия с ксерокопии, с кругом от кофейной чашки на обложке, которую раздали на курсах в девяносто втором году и над которой все смеялись: написал её, судя по всему, человек, насмотревшийся кино. «Классическая методика агентурной вербовки». Корсаков тогда смеялся вслух, и старый усталый инструктор посмотрел на него и произнёс: «Смейтесь, лейтенант. Только запомните».

Бесконтактный подход. Письма, которые объект обязательно захочет прочесть. Серия посланий, постепенное нагнетание интереса. Обратный адрес можно дать сразу, а можно после нескольких писем. Главное – не переиграть.

Он разложил на столе всё, что у него было.

«С прибытием». Через часовщика с Обводного, на пятый день. Первое письмо.

«The sky will be clear on the twenty-ninth». Через Чельбер-

га, в салоне тётки. Второе письмо.

Карточка номер один. «Беречь». Через Стрешнева, уже мёртвого. Третье.

Фотография. «Пап, я тебя найду». Через сына. Четвёртое.

И теперь пятое. «Cloudy on the 28th». Рождественская карточка с золотым обрезом в корзине тётки, между бароном и генеральшей. «From all of us». От всех нас.

Пять писем. Его вели ровно и грамотно, по той самой серой брошюре.

Он повертел карточку в руках. Посмотрел на лицевую сторону, на оборот, на обрез, на свет.

Обратного адреса не было.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.